

М. ЦЯВЛОВСКИЙ

Лев Толстой на войне

Молодым человеком — двадцати двух лет — приехал Толстой 30 мая 1851 г. на Кавказ, в станицу Старогладковскую, где служил его старший брат поручиком артиллерии. В день приезда он записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Через месяц по приезде в станицу Толстой участвует добровольцем в набеге на горный аул. Вот какой разговор, записанный Толстым в черновике рассказа «Набег», произошел между ним и бывшим в отряде «замиренным» горцем:

— Ты какой человек? — спросил он меня после минутного молчания, во время которого внимательно всматривался в мою одежду. Штатское платье мое, видимо, приводило его в недоумение. Я старался объяснить ему свое положение неслужащего человека; но он, как кажется, не мог постигнуть, чтобы человек мог быть не татарином, не козаком и не офицером.

— Зачем ты на похода пошел?

— Посмотреть.

— А! посмотреть. Отчего ж у тебя ни шапки, ни пистолет нет?

— Да я так только посмотреть хочу.

— А! посмотреть!.. Что ж ты смотреть будешь?

Я решительно не знал, что отвечать ему.

Этот разговор в перспективе всего художественного (и не только, пожалуй, художественного) творчества Толстого на военные темы имеет глубокий, можно сказать, символический смысл. То, о чем не нашелся рассказать Толстой наивному горцу, рассказал он нам в серии «кавказских» военных рассказов («Набег», «Рубка леса», «Разжалованный»), в трех «севастопольских» рассказах, в «Казаках», в «Войне и мире», и, наконец, в «Хаджи-Мурате».

Черновые редакции первого военного рассказа Толстого «Набег» имеют исключительное значение для характеристики будущего автора «Войны и мира» как художника и мыслителя. Если «Детство» — первое законченное художественное произведение — в известной мере уже заключает в себе эмбриональные черты «Войны и мира» в части «мира», то «Набег» имеет такие же черты в части «войны».

«Набег» в рукописных редакциях — вещь разоблачительная и даже обличительная, местами сатирическая. Об этих черновиках воистину можно сказать ех ipse leone — «по когням узнают льва». В своих рассуждениях, отступлениях от повествовательной нити рассказа автор разрабатывает те самые вопросы о смысле и значении войны, о храбрости, о «духе войска», которыми он занимается и в «Войне и мире».

«Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев — воображение мое отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их — а интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве».

Вот, оказывается, что хотел «посмотреть» Толстой, приняв участие в набеге на горные аулы. Разве не сказался в этом отрывке и будущий автор «Войны и мира», и философ-моралист, автор позднейших трактатов? Знаменитый, специфически толстовский прием разложения большого и сложного на мелкое, индивидуальное, прием, применявшийся в «Войне и мире», здесь уже определенно заявлен, намечен. Но в «Войне и мире» он осложнен обобщениями (генерализациями) в виде рассуждений, между прочим, как раз в том самом «расположении войск при Аустерлицкой или Бородинской битве», которое автора «Набега» не интересовало.

Не менее значительно в черновиках «Набега» рассуждение о «духе войска» в связи с вопросом о храбрости, тема тоже разрабатывавшаяся в «Войне и мире».

В отношении тенденции, которую я называл разоблачительной, самое замечательное — это рассуждение о смысле и характере войны России с кавказскими народами.

«Война? Какое непонятное явление в роде человеческом. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым».

Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных?»

В этих словах Толстой выразил то, что в течение нескольких десятков лет и до Толстого и после него высказывали и царское правительство, и представители командующих классов, не исключая и декабристов, о войне России с народами Кавказа. Так думал и Пушкин, когда писал «Кавказского пленника» и «Путешествие в Арзрум». Но Толстой не ограничился постановкой этих риторических вопросов. Непосредственно вслед за тем он обращает в прах эти традиционные, по существу гнилые, лицемерные, несправедливые оправдания захватнической политики.

«Но возьмем два частных лица. На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, уловив о приближении русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправках, которые он выпустит не даром, побежит навстречу гяурам, который, увидав, что русские все-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все, что только может составить его счастье, все отнимут у него — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет с себя оборванный zipуншико, бросит винтовку на землю и, нагнув на глаза папаху, залпает предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских? На его ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо вас?..» и т. д.

Итак, вот что увидел любопытствующий волонтер в отряде. Теперь он мог бы ответить спрашивавшему его горцу: «Что же ты смотреть будешь?» Кто из русских, кроме Толстого, в его положении, мог так увидеть и так показать войну с горцами?

По этой же линии разоблачения идут рассказы о «завалах» и описание разгрома аула. Военное командование укладывало сотни солдат, намеренно не строя серьезного укрепления на месте «завалов» только для того, чтобы в сравнительно легких «делах» получать чины и ордена. С присущей только Толстому силой реалистического изображения дано описание разгрома и грабежа казаками аула с разрешения Барятинского и убийство солдатом чеченки. Эти страницы, выкинутые при подготовке «Набега» к печати, без всяких изменений мог бы вставить Толстой стариком в своего «Хаджи-Мурата».

В июне 1853 г. началась «восточная война» занятием русскими войсками Дунайских княжеств. Официально война была объявлена Турции 20 октября.

Толстой, просидевший перед началом войны в отставку, 6 октября ходатайствует о переводе его в Дунайскую армию, «находя более приятным, — как он пишет брату, — воевать в Турции, чем здесь». Жизнь на Кавказе с открытием военных действий на Дунае потеряла для него интерес. После снятия осады Силистрии, в которой он принимал участие, каких-либо значительных действий на Дунае не предвиделось, и в июле Толстой дважды подавал рапорт о переводе его в Крым, где должны были развернуться решающие военные действия. Приехав 9 сентября в Кишинев, он здесь пробыл до конца октября. Ко времени пребывания в Кишиневе относится возникновение плана в группе офицеров артиллерийского штаба Южной армии сначала организации общества для просвещения солдат, а затем издания журнала для солдат. Толстой принимал самое горячее участие в этом деле, намечался одним из двух редакторов журнала и написал для пробного номера статью, которую сам вскоре признал «не совсем православною», т. е. политически неблагоприятной (статья эта, к сожалению, неизвестна). Журнал, как и нужно было ожидать, не был разрешен Николаем I: просвещать солдат не входило в систему его управления.

В последних числах октября пришло в Кишинев известие о проигранном нами 24 октября сражении при Инкермане, когда в наших войсках вышло до 12 тысяч. Среди убитых был и приятель Толстого, участник затеваемого журнала штаб-капитан И. К. Комстадиус. «Его смерть более всего побудила меня прописаться в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним», записал Толстой в своем дневнике 2 ноября 1854 г. Через восемь месяцев в письме к брату он так писал о своем переводе в Севастополь: «Из Кишинева 1 ноября я прописался в Крым... больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно напал на меня».

Через четыре дня по приезде в Севастополь (11 ноября) Толстой сделал свою первую севастопольскую запись в дневнике: «Взять Севастополь нет никакой возможности — в этом убежден кажется и неприятель — по моему мнению он прикрывает отступление». В более развернутом виде об этом же писал Толстой брату: «Дух в войсках свыше всякого описания. В времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, обезьяна войска, вместо: «здорово, ребята!» говорил: «нужно умирать, ребята, умрете?» и войска кричали: «умрем, ваше превосходительство. Ура!» и это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а **взаправду**, и уж 22 000 исполнили это обещание».

Такое было первое впечатление, которое скоро сменилось другим. Пробыв десять дней в Севастополе, Толстой, как итог наблюдений, пишет в дневнике полные горечи, проникнутые пафосом возмущения гражданина-патриота строки: «Шестнадцатого я выехал из Севастополя на позицию. В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться. Все идет на выворот, неприятель не мешая укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлет Николай Чудотворец, чтобы изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение — и войска и государства».

Эта запись выражает не внезапно окзавшее Толстого негодование, вспыхнувшее и скоро погасшее. Еще более беспощадный, можно сказать, уничтожающий приговор, если не всей правительственной николаевской системе, то состоянию армии, которой так любил хвалиться царь, написан Толстым в замечательном документе, сохранившемся в его архиве. Я разумею черновик (в двух редакциях) докладной записки, написанной в январе-феврале 1855 года, которую он намеревался подать одному из младших сыновей Николая I, окружавшихся в это время в Севастополе. Документ этот озаглавлен редактором «Запиской об отрицательных сторонах русского солдата и офицера».

В ней Толстой пишет, что «в России, столь могущественной своей материальной силой и силой своего духа, нет войска». Изобразив самыми мрачными красками материальное и моральное положение солдат, Толстой характеризует офицеров, как «наемников», «грабителей» и «безнравственных невежд», а генералов делит на «наемников, честолюбцев и генералов потому, что надо быть когда-нибудь генералом». Главкомандующими, по мнению Толстого, делаются генералы не по способностям, а «потому, что они царю приятны».

Задуманная Толстым докладная записка великому князю оказалась такой страшной силы обличительным документом, что и речи не могло быть о том, чтобы дать ей ход. По напряженности страстного негодования и гнева набросок молодого Толстого — первое из тех «Не могу молчать», которыми он до конца жизни не уставал громить ненавистный ему строй.

«Записка» Толстого, написанная, как выражаются, одним дыханием, в своем беспощадном пафосе обличителя, конечно, стучит краски; ее положения опровергает уже один факт, та самая героическая оборона Севастополя, во время которой писал эти безотрадные строки Толстой.

Но как бы то ни было, «Записка» Толстого открывала собою целый поток «записок», проектов, заметок, очерков публицистического жанра обличительной литературы, характернейшего явления в истории общественного движения пятидесятых — шестидесятых годов. По беспощадности же изображений действительности «Записка», пожалуй, не только не уступает статьям Герцена в «Колоколе», но и сильнее их.

Весь апрель и первую половину мая Толстой проводит в Севастополе. Это было самое значительное для Толстого пребывание в рядах войска.

Он служил в самом опасном, знаменитом «четвертом бастионе», который неприятель бомбардировал с неослабевающим ожесточением. В этом аду Толстой дежурил «по 4 дня через 8 дней». Вот две дневниковые записки за это время: «12 апреля... Какой славный дух у матросов! Как много выше они наших солдат! Солдатики мои тоже милы и мне весело с ними...» На другой день: «Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет».

Этим настроением не падающих духом защитников осажденного города и преклонением перед простым героизмом солдат и матросов и проникнут первый севастопольский рассказ «Севастополь в декабре», писавшийся в апреле 1855 г., в те самые дни, когда сделаны приведенные дневниковые записки.

В это же время пребывания Толстого на 4-м бастионе с вечера 10-го до утра 11 мая произошла ожесточенная схватка русских войск с французскими. Это послужило материалом для второго рассказа «Севастополь в мае», подвергнутого цензурным искажениям при печатании в «Современнике».

Получив об этом письмом от Панаева, Толстой записывает в своем дневнике:

«Я кажется сильно на примете у синих [жандармов]. За свои статьи. Желая впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели».

4 августа Толстой был в неудачном, «ужасном», по его выражению, сражении у Федюхиных высот. Сражение это «воспето» в песне «Как четвертого числа нас нелегкая несла». Песня эта, сочиненная Толстым, — блестящая стилизация солдатских песен — остро и зло осмеивает неадаптивных командиров. Она получила чрезвычайно широкое распространение; особенно популярны стихи:

Гладко вписано в бумаге,

Да забыли про овраги,

А по ним ходить.

Меньше чем через три недели после этого сражения Севастополь после одиннадцатимесячной героической обороны, стойшей нам более ста тысяч убитых и раненых, пришлось сдать.

«Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма... Я плакал, когда увидел город обоятым пламенем и французские знамена на наших бастионах...», — писал Толстой родным 4 сентября.

Последние дни осады и самый штурм описаны Толстым в его третьем и последнем замечательном севастопольском рассказе «Севастополь в августе 1855 года».

Толстой как летописец великой севастопольской обороны заслуживает самого серьезного внимания. Наша статья — лишь беглый очерк на эту тему.

Действенный патриотизм, не позволявший Толстому быть только наблюдателем совершавшихся в то время военных событий и приведший его в ряды защитников Севастополя, патриотизм, не только не исключавший, но и обусловливающий трезвую, беспощадную, «облитую горечью и злостью» критику провалившейся государственной системы монархии Николая I — таков тот дух, которым проникнуто все, написанное Толстым за севастопольский период его жизни.

Меньше чем через десять лет, снова обратившись к теме защиты русским народом своей страны от врагов, Толстой остался верен патриотизму, пафосом которого проникнута великая эпопея «Война и мир».